



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР
СПИСАННЫЙ

ЧАСТЬ II

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Илья Калинин

Виктор - Списанный (Часть II)

<https://litres.ru/74365984>

SelfPub; 2026

Аннотация

Новая жизнь начинается с нового лица. Оторвавшись от прошлого и от тех, кто идёт за деньгами мёртвых, Виктор Скорев оседает на тёплой живой планете, стирает себе пять лет у дешёвого костоправа и берётся за ремесло, в котором его пожизненный «бесполезный» дар — знать всё понемногу и читать людей насквозь — вдруг стоит целое состояние: он продаёт жильё. Тихо, по одному, не набиваясь, он поднимается — от квартир бизнес-класса к вилле у самого моря, всё ближе к детской своей мечте: планете-курорту, где всегда лето и никто ничего не считает.

Он почти дошёл. Тёплый берег, своя терраса над водой, покой, которого не было за полвека. Одна беда: курорт — самое видное место в обитаемом мире, а те, кто когда-то бросил в пустоте мёртвый корабль, терпеливы и умеют ждать. И чем слаще сбывается мечта, тем ближе подступает к ней старый счёт.

Содержание

Глава 30. Планета	4
Глава 31. Варианты	14
Глава 32. Выбор	24
Глава 33. Курсы	34
Глава 34. Риша	44
Глава 35. Кафе	54
Глава 36. Планы	64
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Илья Калинин

Виктор - Списанный

(Часть II)

Глава 30. Планета

С новым лицом ходить по миру стало легче. Не оттого, что я сделался красивее или моложе душой, — душа осталась старая, на своих годах, и глаза остались мои, — а оттого, что теперь на меня не цеплялся чужой взгляд, ищущий несоответствия. Я сошёлся сам с собою, лицо с бумагой, и мог наконец делать то, ради чего и приехал, — приглядываться к этому миру всерьёз, не боясь, что приглядятся ко мне. И я приглядывался, ходил по городу дни напролёт, смотрел и складывал, как складывал всю жизнь, и понемногу этот молодой жадный мир открывался мне весь, как открывалась мне грузовая траншея, — не по кускам, а сразу, целиком.

Мир строился. Это было первое и главное, что бросалось в глаза всюду, куда ни глянь. Город лез вверх и вширь, краны ворочались над недостроенными башнями в восемьдесят, в сто этажей, улицы разрывали и прокладывали заново, всюду рос свежий бетон, всюду тянулись леса и лебёдки. За двадцать лет, я уже прознал по чужим разговорам, народу тут

стало вдесятеро против прежнего, и всё прибывал новый, тѣк со всех умирающих окраин на этот растущий мир, как течѣт вода в низину, и всех этих прибывающих надо было где-то селить, и оттого строили без роздыху, и конца стройке не было видно. Тут нужны были руки — на стройку, на производство, на всякое дело, — и брали всякого, кто приехал, не больно глядя, кто он и откуда.

Я приглядывался к этому росту так и эдак, ходил на окраины, где рос новый город, стоял и смотрел, как поднимаются башни. Их строили быстро, дешёво, много, одну похожую на другую, целыми улицами, целыми районами, и не успевали достроить один, как рядом закладывали три. Тут делали деньги на самом простом и вечном — на том, что людям надо где-то жить, а людей всё прибывало. Кто успел вложиться в стройку раньше, тот поднялся; кто строил теперь, тот поднимался; и вокруг этой стройки кормилась тьма народу — рабочие, поставщики, подрядчики, конторщики, зазывалы, и над всеми ними — те, кто владел землёй и домами, невидимые хозяева, что снимали с этого роста главные сливки, не запачкав рук. Я глядел на эту махину, на весь этот кормящийся вокруг стройки люд, и прикидывал, как прикидывал всё, где тут моё место, куда можно вклиниться человеку без имени, без связей, без ремесла, но с деньгами, которых пока нельзя тронуть, и с глазом, который видит то, чего не видят другие.

Я мог бы наняться на любое из этих дел. Руки у меня бы-

ли рабочие, спина ещё держала, лицо теперь молодое, бумага чистая. Мог бы пойти на стройку таскать бетон, в цех к станку, в док при порте, куда шли все приезжие, и жить, как жил всю жизнь, — рабочей единицей, только теперь вольной, при своём угле, за нормальные деньги. И первые дни я так и думал сделать, потому что деньги мои были на исходе, а ключ трогать было рано, и надо было на что-то жить. Но чем дольше я приглядывался, тем яснее видел, что это было бы то же самое, из чего я всю жизнь рвался, — та же работа руками, где ценят руки, а не голову, где я снова стал бы третьим, средним, никем, только на новом месте. А я не за тем сжёг за собой всё и купил себе новое лицо, чтоб снова стать никем.

Я это слишком хорошо знал, что такое снова стать никем, чтоб идти на это по доброй воле. Пятьдесят лет я был рабочей единицей, тем, кого ценят за руки да за спину и списывают, чуть руки ослабли. Я знал наперёд всю эту дорогу, до последнего дня: наймусь молодым по бумаге, потаскаю бетон, покуда спина держит, а как перестанет держать — меня и тут спишут, как списали там, только теперь уже никакой бумагой не скинуть настоящих лет, что подступят. Пойти в руки значило начать сызнова тот же круг, из которого я всю жизнь рвался и из которого вырвался только теперь, ценою имени, лица и половины денег. Нет. В руки я не пойду. Я купил себе выход из этого круга не затем, чтоб добровольно шагнуть в него обратно на новом месте. Мне нужно было

дело, где ценят не руки, а то, что у меня было взамен рук и чего не было у прочих.

И вот тут, приглядываясь, я и разглядел одну вещь, которую разглядел бы, должно быть, я один, потому что смотрел на целое, а не на свой кусок. Всё это жильё, что строили без роздыху, все эти башни в сто этажей, — их ведь надо было не только построить. Их надо было продать. Построить дом — это руки, это стройка, это то, что у всех на виду. А продать дом — это уже не руки. Это язык, это глаз, это умение подойти к человеку, понять, чего он хочет и чего боится, и дать ему это, вернее, продать ему это. И я, ходя по городу, стал примечать не стройку уже, а тех, кто продаёт, — агентов, зазывал, людей при конторах, что водили покупателей по готовым квартирам, показывали, уговаривали, торговались. Я останавливался поодаль и смотрел, как они работают, и видел, что работают они по большей части худо. Они знали свой товар, свои метры и этажи, но не знали покупателя. Они говорили, а не смотрели. Они расхваливали дом, а надо было читать человека, что пришёл дом покупать, — читать, чего он на самом деле хочет, что скрывает, чем купится, а этого они не умели, потому что смотреть на человека, покуда он говорит, и видеть за его словами настоящее — это редкий дар, а у них его не было, у них был только заученный говор.

Раз я нарочно увязался за одним таким продавцом и покупателем, притворившись, что и сам приценяюсь, — прошёл

с ними по готовой квартире в новой башне, послушал, посмотрел. Продавец, молодой, бойкий, тараторил без умолку, сыпал этажами, метрами, видами из окон, расхваливал так, что уши вяли. А покупатель, немолодой семейный человек, что пришёл с женой, слушал, кивал, и я по лицу его видел, чего продавец не видел вовсе: что человеку этому не метры важны и не вид, а одно — чтоб жене понравилось, чтоб она была довольна и спокойна, потому что он устал от её тревоги и покупал не квартиру, а её покой. И продавец, тараторя про метры, покупателя терял, а надо было бросить метры и заняться женой, ей одной, её успокоить, ей угодить, — и дело было бы сделано. Я стоял в сторонке и видел это яснее ясного, всю их маленькую человеческую механику, кто чего на самом деле хочет и кто на чём сорвётся, и во мне чесались руки вмешаться, сделать за этого болвана его работу. Я, конечно, не вмешался. Я ушёл. Но ушёл с твёрдым знанием: тут есть чем взять, и взять могу я.

Я и потом не раз ходил на такие показы, приглядываясь к ремеслу издали, как приглядывался ко всему. Ходил будто покупатель, слушал, смотрел, и всякий раз убеждался в том же: продают тут худо, продают языком, а не глазом. Один агент напирал на цену, другой на моду, третий заучил красивые слова и сыпал ими, как сыплют горохом, не глядя, куда падает. И никто, ни один, не делал того простого, с чего я начал бы сам, — не смотрел на того, кому продаёт. Не читал его. А ведь всё было написано на покупателях яснее, чем в

любой накладной: этот боится продешевить и оттого не купит, покуда не поверит, что урвал; этот покупает не себе, а чтоб утереть нос соседу; этот, как тот, семейный, покупает жене покой; а этот и вовсе не купит, ходит по показам от тоски, чтоб побыть среди тех, у кого есть деньги. Всё это читалось с одного взгляда, стоило только смотреть, а не говорить, — и я, читая покупателей поверх голов бестолковых агентов, чувствовал ту же чесотку в руках, что чувствует мастер, глядя, как портит работу неумеха.

А у меня он был. Всю жизнь был, этот самый дар, только всю жизнь он был мне без пользы, потому что там, где я жил, читать людей было незачем — на дне все наперёд ясно, все хотят одного, дожить да поесть. Мой дар видеть целое, читать человека за его словами, связывать несоединимое всю жизнь пролежал во мне мёртвым грузом, за который не платят, из-за которого меня, напротив, и списывали, потому что видящий целое неудобен узким людям. А тут, в этом мире, где строят и продают, где всякий день сходятся продавец и покупатель и всё решается в том, кто кого прочтёт, — тут мой мёртвый дар вдруг оказывался золотом. Тут за него платили. Тут он был не помехой, а самым нужным, что может быть, и я, стоя поодаль и глядя, как худо работают тамошние продавцы, впервые в жизни подумал не с горечью, а с холодным ясным расчётом: я бы так не смог. Я бы смог лучше. Я один тут, может быть, и смог бы по-настоящему, потому что я один смотрю, а не говорю.

Но чем яснее я видел эту свою будущую силу, тем строже осаживал себя, потому что знал за собой и за всяким даром одну опасность: дар тянет высунуться. Тому, кто умеет то, чего не умеют другие, всегда хочется это показать, а показать — значит стать видным, а видным мне было нельзя, видным мне было смертельно. Я представлял себе, как стал бы продавать эти квартиры лучше всех, как пошли бы у меня дела, как заметили бы меня, стали бы говорить обо мне, — и тут же холодел, потому что всякий, о ком говорят, оставляет след, а по следу ко мне шёл тот, от кого я унёс деньги мёртвых. Вот в чём была моя загвоздка, которой не было у прочих: мне надо было поймать двух зайцев разом, несовместных. Подняться — и остаться незаметным. Преуспеть — и не засветиться. Стать лучшим — и чтоб никто этого не запомнил. Как это совместить, я ещё не знал, но знал, что без этого мне нельзя, что успех для меня опаснее неудачи, потому что неудачник невидим, а удачник на виду, а мне на вид было нельзя.

Я вертел эту загвоздку так и эдак и не находил ей простого решения, а сложное брезжило где-то с краю, ещё без ясных очертаний. Выходило, что мне нужен был не громкий успех, а тихий, — такой, чтоб дело шло, деньги капали, а имя моё нигде не гремело; чтоб я был хорош, но незаметен; первым, но не на виду. Как это устроить, я пока не знал, но чуял, что устроить можно, что есть где-то такой ход, и что найти его — по мне, потому что всю жизнь я тем и брал, что находил боковые тропы там, где прочие видели либо большую доро-

гу, либо стену. Прочие продавцы рвались к славе, к званию лучшего, к тому, чтоб их знали и хвалили, — им слава была нужна, она их кормила. А мне слава была ядом. И, может, думал я, в этом-то и была моя невидимая сила: там, где другому надо, чтоб его заметили, мне надо было наоборот, и это желание остаться в тени посреди успеха, дикое для всех, было мне природным, я его не выдумывал, я им жил всю жизнь.

Я не бросился в это очертя голову, нет. Я не из тех, кто бросается, я из тех, кто примеряется долго. Продать дом — это не блоки в трюме сверить, тут своя наука, свои бумаги, свои законы, свои люди, и всего этого я не знал, и надо было узнать прежде, чем соваться. И были другие пути, которые тоже стоило взвесить, потому что всякий раз, как видишь одну дорогу и загораешься, надо остудить себя и оглядеть остальные, чтоб не кинуться на первую попавшуюся от жадности, как кинулся когда-то Бёрк на осыпь. Я решил приглядеться ко всему, что мог мне дать этот мир, взвесить не одну дорогу, а все, какие увижу, и уж потом выбрать ту, что вернее ведёт к тому, чего я хотел, — к тихой сытой жизни, где на меня глядят как на человека, а не как на строку.

Дорог, какие мог мне дать этот мир, было не одна. Я мог вложить свои будущие деньги, когда разменяю ключ, в самую стройку, стать одним из тех невидимых хозяев, что снимают сливки, не запачкав рук, — это было бы и безопаснее, деньги делают деньги тихо, без лица. Мог завести своё маленькое дело, лавку, контору, что угодно, и жить тихо, никем. Мог,

наконец, просто затаиться на медяках, доживать, не высываясь, как доживал всю жизнь, — самое безопасное из всего. Каждая из этих дорог была вернее и тише той, на которую тянуло меня, — тише продажи домов, где надо выходить к людям лицом к лицу. И умный осторожный человек выбрал бы тихую. Но я, ходя по городу и глядя на худых продавцов, чувствовал не расчётом, а чем-то глубже расчёта, что тихая дорога не по мне, что мне мало просто уцелеть и доесть свой век в углу, что я, пятьдесят лет пробывший нулём, хочу теперь не спрятаться, а хоть раз в жизни оказаться на своём месте, там, где мой дар не проклятие, а сила. И это желание, я знал, было опасным, самым опасным из всех, потому что оно тянуло меня не туда, где безопасно, а туда, где я нужен, — а нужный человек всегда на виду.

И всё же, взвешивая тихие дороги против шумной, я чувствовал, что выберу шумную, — не рассудком, рассудок был против, а чем-то, что сидело глубже рассудка и было упрямее его. Всю жизнь я делал, что велено, шёл, куда сунут, был там, где меньше риска и меньше жизни. И вот теперь, на склоне лет, урвав у судьбы последний свой шанс, я не хотел снова выбирать самое безопасное. Мне хотелось хоть раз сделать по-своему, пойти туда, куда тянет, а тянуло меня туда, где я был бы не лишним. Я понимал, что это неразумно, что осторожный человек так не поступает, что желание это может меня и погубить. Но я слишком долго был разумен поневоле и слишком дорого за свою осторожность заплатил, чтоб

теперь, получив наконец волю, снова связать себя по рукам одной только осторожностью.

Но в тот вечер, вернувшись в свой угол с окном, я долго сидел и смотрел на растущий чужой город, на башни в огнях, что лезли в живое небо, и думал, что впервые за пятьдесят лет вижу перед собой не яму, в которую медленно оседаю, а лестницу, по которой можно лезть вверх. Всю жизнь мой дар был проклятием, из-за которого меня не любили и списывали. А тут он обещал стать деньгами, положением, той самой жизнью, о какой я мечтал. Надо было только выбрать, куда его приложить, и приложить тихо, не выдав ни разу, что за никчёмным приезжим средних лет прячется человек, который видит вас всех насквозь. И, засыпая с рукой на бедре, я в первый раз думал не о том, как уцелеть, а о том, как подняться, — и не знал ещё, что мысль эта, сладкая и новая, была первым шагом на дорогу, в конце которой меня ждала не только мечта, но и тот, от кого я бежал.

Глава 31. Варианты

Прежде чем выбрать дорогу, я оглядел все, какие видел, — не одну, а все, потому что кинуться на первую попавшуюся от того, что она заманчива, значило поступить, как Бёрк на осыпи, а куда это ведёт, я насмотрелся. Я и теперь, спустя всё, что было, помнил его лицо в тот последний час — жадное, торопливое, глухое к слову, — и как он полез, куда я не велел, потому что там блестело, и как порода сошла и придавила его насмерть за то только, что он не дал себе труда подождать и подумать. Осторожный живёт, торопливый лежит под осыпью. Этот урок был вбит в меня чужой смертью, и я его не забывал.

Я дал себе на это несколько дней, ходил по городу, приглядывался к каждому пути, примерял его на себя, взвешивал, что он сулит и чем грозит, и складывал в память, как складывал всё. Город был мне в помощь. Он рос на глазах, шумный, пыльный, весь в лесах и кранах, и ходить по нему было всё равно что ходить по большой раскрытой книге, где на каждой странице писалось, кто тут кормится и с чего. Я шёл мимостроек, где рёв машин глушил слово, мимо контор, где за стеклом сидели чистые люди при бумагах, мимо лавок, мимо рынков, где кричали цену, — и всё это читал. Дышалось тут даром, воздух был свой, планетный, не купленный, не отмеренный по вздоху, как отмеряли его на ниж-

нем уровне, и я, шагая, нет-нет да и ловил себя на том, что дышу глубоко, без счёта, как богач, — а богатство, я давно понял, это и есть, когда чего-то вдоволь задаром. Вечерами возвращался в свой скромный угол, садился у окна, глядел на огни растущего города и на тьму над ним, откуда, может, уже шли по моему следу, и там, у окна, перебирал в уме, что видел за день, и складывал одно к одному.

Странно было и думать, что ещё недавно я мерил жизнь вздохами да медяками. Там, на нижнем уровне, в клетушке в девять метров, где стены сходились так тесно, что рук не расставить, я знал наперёд всякий свой день: паёк по норме, воздух по счёту, работа, сон, и опять паёк, и так до того часа, когда меня подведут к стенке, зачитают бумагу и спишут по возрасту, как списывают выработавшую своё деталь. Я стоял тогда и слушал, как чужой ровный голос читает, что я больше не нужен, и не было в том ни злобы, ни жалости, а один расчёт: отслужил — уступи место. И вот теперь я ходил под даровым небом, дышал без счёта и волен был выбирать себе дорогу, а всё оглядывался, всё щупал у бедра, потому что тот, кого раз списали за ненадобностью, до смерти уже не поверит до конца, что жизнь его чего-то стоит и что за ним не придут снова.

Первый путь был самый лёгкий и самый горький — руки. Наняться на стройку, в цех, в док, куда брали всякого приезжего, и жить рабочей единицей, вольной, при своём угле, за нормальные деньги. Тут, на растущем миру, рук не хва-

тало, брали всякого и ни у кого не спрашивали лишнего, и наавтра я мог бы стоять в общей очереди у ворот стройки, а через неделю таскать бетон или сваривать балки под тем самым даровым небом. Я его отмёл сразу, едва примерив. Не потому, что боялся труда, труда я не боялся, руки мои, хоть и жжёные, хоть два пальца и гнулись не до конца, дело ещё держали, а потому, что это было бы возвращением в тот самый круг, из которого я вырвался ценою всего, что имел. Я слишком хорошо знал, чем это кончается. Полвека я и был рабочей единицей, вольной да не вольной, и знал наперёд каждый её день до самого дна. Руки старели, спина сдавала, и через десять лет меня и тут списали бы, как списали там, у стенки мусоровоза, только уже без всякой бумаги не скинуть настоящих лет, потому что от станка годы не спрячешь. Я эту дорогу знал наизусть, всю, до последнего поворота, и последний поворот на ней был — клетушка в девять метров и синтетический паёк по норме. Руки были дорогой в никуда.

Второй путь был потише — своё маленькое дело. Завести лавку, ларёк, мастерскую, что угодно, и кормиться потихоньку, никем, не высываясь. Я приглядывался к таким, к мелким хозяйчикам приезжего квартала, что сидели в своих лавчонках с утра до ночи. Заходил, приценивался к пустяку, заговаривал ни о чём — про товар, про торговлю, про то, как идёт дело, — а сам глядел. И видел, что живут они не худо, но и не хорошо, — привязаны к своему прилавку, как привязан узник к тачке, считают медяки, дрожат над товаром, встают

затемно, ложатся за полночь, и вся их воля в том, что хозяин им — они сами, а хуже хозяина, чем ты сам себе, поискать. Один такой, торговавший всякой мелочью, пожаловался мне через прилавок, не жалуясь, а так, к слову:

— Своё дело — та же служба, только уйти нельзя. Со службы гонят, а от своего сам не уйдёшь, оно тебя держит.

Я запомнил. И, главное, чтоб завести такое дело, нужны были деньги вперёд, а деньги мои были на исходе. Этот путь я не отмёл совсем, отложил в сторону, как откладывают то, что согдится, коли не выйдет лучшего.

Третий путь был самый безопасный из всех — затаиться. Снять угол подешевле, жить на медяки, ничего не затевать, не высовываться, ждать своего часа, дойти со временем до менялы на Хейвене, разменять ключ и доживать тихо, богатым, но невидимым. Умный осторожный человек выбрал бы этот путь не думая, и я долго стоял над ним, потому что он и был мне по природе, я всю жизнь только и делал, что затаивался. Невидимость была моё ремесло вернее всякого другого; я умел стереться, слиться, пройти так, что после и не вспомнят, был ли ты. И вот мне предлагалось стереться до конца, насовсем, и досидеть свой век в тени, при деньгах, которых нельзя тронуть, как скупец сидит на сундуке, не смея открыть. Но чем дольше я на него глядел, тем яснее чувствовал, что не смогу. Я вспомнил торговку на рынке, ту, что в первые дни глянула на меня прямо и приветливо, как глядят на человека, у которого есть чем заплатить, — не сквозь ме-

ня, как глядели полвека, а на меня, — и как сладко это было и как ново. Затаиться на годы, ничего не делая, дожидаясь дня, когда можно будет тронуть ключ, — это значило снова стать нулём, только богатым нулём, а богатый нуль всё равно нуль, и на нуль глядят сквозь, богат он или наг. Я, вкусив однажды того прямого приветливого взгляда, назад в нули не хотел. Взгляд этот стоил дороже покоя. Полвека на меня глядели сквозь, как глядят на пустое место, а тут глянули как на человека, у которого есть цена, и, раз вкусив этого, снова стать пустым местом, пусть и с полным карманом, было выше моих сил. Тошно было от одной мысли.

Четвёртый путь был хитрый — деньги. Дождаться, покуда разменяю ключ, и вложить их в самую стройку, в землю, в дома, стать одним из тех невидимых хозяев, что снимают сливки, не запачкав рук и не показав лица. Это было и безопасно, и прибыльно, деньги делают деньги тихо, сами собой, покуда хозяин спит, — так устроен этот мир, я это видел, глядя на чистых людей за стёклами контор, что не поднимали ничего тяжелее пера, а жили сытнее всех. Но для этого пути нужен был уже разменянный ключ, большие деньги на руках, а до того было далеко, за Хейвеном, за менялой, за долгой дорогой, которой я ещё и не начал. И, главное, этот путь не давал мне того, чего я хотел. Я вдумался и понял, чего хочу, и удивился сам: мне надоело быть в тени. Полвека тени — довольно. Деньги в стройке оставляли меня всё тем же невидимкой, только сытым, а мне хотелось не только есть досыта,

но и чтоб на меня глядели как на человека. Я его тоже отложил, на потом, на когда разбогатею, как откладывают дальнюю цель.

А пятый путь был тот, на который меня тянуло, — продавать. Дома, квартиры, всё то, что строили тут без роздыху и что надо было кому-то сбывать. Я взвешивал его дороже всех, ходил вокруг него, как ходят вокруг вещи дорогой и опасной, потому что он был и самый заманчивый, и самый опасный. Заманчивый оттого, что тут годился мой дар, мой единственный козырь, — читать людей, видеть за их словами настоящее, — и годился как нигде. Я это увидел своими глазами на чужом показе, когда стоял в сторонке и глядел, как складный языкатый агент терял покупателя, потому что говорил про метры и вид из окна, а покупатель-то пришёл не за метрами, а за покоем для жены, и это было написано на нём так ясно, что я дивился, как агент не видит. Я стоял тогда у двери, будто сам приглядывал жильё, и глядел не на квартиру, а на этих двоих — на бойкого агента, что сыпал словами, и на грузного молчаливого человека, что слушал вполуха и всё поглядывал на жену, а жена ходила по комнатам устало, и видно было, что ей всё равно, где стены, лишь бы кончилась их маета по чужим углам. Агент хвалил высоту потолков да свет из окон, а надо было сказать одно слово — что тут тихо и что тут они наконец будут дома, — и человек подписал бы не глядя. Но агент того слова не знал, не видел, куда бить, и говорил, говорил, покуда те не ушли

ни с чем. Я вышел следом и всю дорогу думал, что на его месте продал бы вдвое скорее, и не языком, а тем, что при мне было отроду. И чем больше я ходил по этому миру, тем яснее видел, что таких показов, таких упущенных сделок тут не счесть. Строили без роздыху, дом за домом, квартал за кварталом, и всё это надо было кому-то сбывать, а сбывали худо, наспех, тем самым языком без глаза. Продавцов было много, а зрячих меж них не было вовсе, — все говорили, никто не смотрел. Мир, где всё продаётся, а продавать никто не умеет, — вот куда меня занесло, и я, полвека числившийся никчёмным за то, что знал всё понемногу и ничего толком, вдруг оказался ровно тем человеком, какого этому миру и не хватало. Дар мой, что был мне обузой на мусоровозе, где платили за узкое уменье, тут делался золотом, и надо было только суметь этим золотом распорядиться так, чтоб не сгореть на его блеске. Вся продажа только на том и стоит, кто кого прочтёт, а читать я умел. Опасный же оттого, что продавать значило выходить к людям лицом к лицу, каждый день, помногу, светиться, делаться видным, а видным мне было нельзя. Там, во тьме над городом, недобрали своего убийцы борта, и, спохватившись, пойдут добирать, и первое, что им нужно, — лицо, имя, место. Все прочие пути прятали меня, а этот выставлял, и в этом была вся загвоздка.

Я ходил и взвешивал, и понемногу во мне складывалось решение, не разумом, разум был против, а тем, что глубже разума. Руки — нет, это назад в круг. Лавка — можно, да

мелко, да привяжет. Затаиться — безопасно, да тошно, снова в нули. Деньги в стройку — потом, когда разбогатею. А продавать — страшно, да по мне. По мне, потому что впервые в жизни открывалось дело, где я был бы не лишним, а первым, где мой дар был не проклятием, а силой. Всю жизнь моя широта, то, что я знал по чуть-чуть обо всём и умел глядеть на целое там, где прочие видели свой узкий кусок, была мне не в помощь, а в тягость: узкому спецу платили, а меня, знавшего всё понемногу, держали за никчёмного, за того, кто ничего толком. А тут, в продаже, где надо было разом видеть и дом, и бумагу, и закон, и, главное, человека, — тут моя широта делалась золотом, и я, читая покупателей поверх голов бестолковых агентов, был бы королём среди слепых.

Я знал, что выбираю самое опасное. Знал, что осторожный человек так не выбирает. Но я слишком долго был осторожен поневоле и слишком дорого за осторожность заплатил, чтоб теперь, получив волю, снова связать себя по рукам одной оглядкой. Мне хотелось хоть раз сделать по-своему. Чиф когда-то, у больного движка, говорил мне про свой час — про тот зазор, когда можно сойти вольным, а не лечь под машину деталью, — и вот он, мой час, настал, и глупо было бы, дождавшись его, снова забиться в угол. И я решил, что сделаю, — только сделаю так, как умею я, а не как делают прочие: тихо. Продавать буду, но не рваться в славу; преуспею, но не засвечусь; стану лучшим, а имени моего чтоб никто не запомнил. Как это устроить, я ещё не знал. Но чуял,

что можно, что есть где-то боковая тропа между успехом и незаметностью, узкая, вдоль самого края, и что найти её — по мне, потому что всю жизнь я тем и брал, что находил тропы там, где прочие видели либо большую дорогу, либо стену.

В этом и была вся хитрость задуманного, и я видел её ясно: подняться — и остаться невидимым, преуспеть — и не оставить следа, стать в деле первым — и чтоб об этом первом никто не знал. Успех — это заметность, а заметность — это след, а по следу приходит тот, с прицелом. Всякий, кто подымается, тем и подымается, что делается видным: кричит о себе, лезет на глаза, копит имя, как копят деньги. А мне имя было нельзя, мне надо было расти молча, богатеть в тени, и я знал, что тропа эта узка, что идти по ней — что идти по карнизу над пропастью: чуть шире шаг в славу — и сорвёшься на глаза убийце, чуть назад в тень — и снова нуль. Но по узкому я умел. Всю жизнь по узкому и ходил, только прежде по нужде, а теперь по своей воле, и в том была вся разница.

Оставалось малое. Понять, как в это дело войти. Продать дом — это не блоки в трюме сверить, тут была своя наука, свои бумаги, свои законы, свои люди, и всего этого я не знал. Дар даром, а ремесла без ученья не бывает. И, решив продавать, я тут же понял, что первым делом мне надо не продавать, а учиться, — войти в это дело не с улицы, оборванцем, а как положено, с бумагой, что я обучен, в приличном платье, из приличного квартала, чтоб меня взяли и чтоб я

не выделялся среди тех, кто там кормится. Приличного человека выдаёт всё разом — и то, как одет, и то, где живёт, и то, есть ли за ним бумага, — а зазор в чём-нибудь одном цепляет чужой глаз, как цеплял его на заставе зазор молодой бумаги при старом лице. Зазоров я себе позволить не мог. А на всё это — на ученье, на платье, на квартиру получше — нужны были деньги, которых у меня почти не осталось. И, поняв это, я упёрся в ту же стену, что стояла передо мной с самого Дампа: ключ у бедра стоил целое состояние, а на руках было пусто. Богат и нищ разом. Я сидел у окна, трогал сквозь ткань тяжесть у бедра — то, за что убивают, — и знал, что этой тяжести мне сейчас не съесть ни куска. Чтоб начать зарабатывать, надо было сперва потратить, а тратить было нечего, и весь мой замах упирался в горсть медяков на доньшке кармана.

Глава 32. Выбор

Стена эта — богат и нищ разом — стояла передо мной с самого Дампа, и я знал, что рано или поздно придётся её брать. Весь мой замах, всё, что я задумал, упиралось в горсть медяков на дне кармана, а за пазухой у меня лежало состояние, которого нельзя было тронуть. Большой судовой счёт, старший ключ, — его нельзя. Я перебрал это ещё раз, начисто, чтоб не осталось соблазна. К нему нужен был меняла на Хейвене, большая серая рука, слово от старьёвщика с Дампа, долгая дорога назад, к тем самым белым башням, откуда я едва унёс ноги, а до Хейвена было далеко, и лезть туда сейчас, ни к чему не готовым, без прикрытия, без имени, за которым можно спрятаться, значило погубить всё разом — и деньги, и себя. Большое двигают не спеша и не с пустыми руками. Большое подождёт.

Старьёвщик на Дампе, когда я менял у него малый край, поглядел на деньги, что я вынес, и сразу сказал, что деньги эти мёртвых и что за такими рано или поздно приходят, а большое я тут не двину — двину только у больших рук на живой планете, по слову от него. Он не пугал, он считал вслух, как считаю я, и оттого я ему поверил. И теперь, на живой планете, я это слово держал в уме, как держат карту: старший счёт — на Хейвене, у белых башен, не раньше того, как встану тут крепко на ноги и обрасту прикрытием. А по-

куда — по краю, по мелочи, тонкой рукой.

Тянуть тонкой рукой из битого края я умел — этому меня выучил Чиф на Профите, над моим же оплавленным ключом, когда доставал из него уцелевшее, не добив остального. Тогда я и понял, как ключ хранит доступ по частям и как из битого берут лишь то, до чего дотянется целый край, не спугнув, не порвав. Наука эта была оплачена дорого — кожей руки, половиной моих тогдашних денег, — и вот теперь окупалась. Всякая наука, за которую заплачено болью, держится крепко: я тянул из края ровно столько, сколько край отдавал, и ни зерном больше, чтоб не оборвать нить.

Но между большим счётом, которого нельзя, и пустым карманом лежало кое-что ещё. Битые части. Оплавленные края, те, что жар теплоносителя когда-то спёк на моей же груди вместе с кожей руки, и из которых я уже вытянул малую долю на Дампе, у старьёвщика, на паспорт да на дорогу. Я знал теперь эти края, как знает мастер свой инструмент, — знал, что в них уцелело, а что висит недостижимо за оплавленным, знал, докуда дотянется целый край, а куда уже не залезть. Из них можно было вытянуть ещё, не трогая старшего, — не много, но довольно, чтоб встать на ноги. Тонкой рукой, по чуть-чуть, из края, а не из сердца.

Я обдумывал это несколько ночей, сидя у окна, взвешивая всякий раз одно против другого, потому что тут ошибиться было нельзя. Всякий размен — след. Это я затвердил накрепко ещё с корабля, с той поры, как распутывал ключ и

понял, что перевод чертит в реестрах борозду, а по борозде приходит тот, кому её видно. Но размен размену рознь. Тронь я старший счёт, пусти большие деньги — и след прочертится жирный, свежий, приметный, и по нему придут те, что недобрали своё в холодном борте. А вытяни малое, из битого края, размеряй на медяки да на скромные нужды приезжего, что подымается, как подымаются тысячи, — и след будет тонкий, теряющийся, каких на живой планете чертятся сотни в день, и никто по такому не пойдёт, потому что не за таким идут. Убийца идёт на запах больших денег, а не на медную мелочь голытьбы. Мелкий размен прятался в толпе таких же мелких, как я сам прятался в толпе приезжих. Крупный торчал бы, как торчал бы я в дорогом платье среди голи, — сразу, за версту. Значит, тянуть надо было по чуть-чуть, из края, а не из сердца ключа, и менять по чуть-чуть, у мелких, а не у больших.

Мелкую серую руку я нашёл на этой планете так же, как находил всё, — по слову, приглядываясь и прислушиваясь в приезжем квартале, где всякий второй чем-нибудь да при-торговывал мимо счёта. Я не спрашивал в лоб, спрашивать в лоб — выдать нужду, а нужда в цене набавляет; я ходил, слушал, ронял к слову вопрос-другой, глядел, у кого глаза бегают, кто на счёт скор, кто грязного не гнушается, и поне-много вышел на нужного. Не старьёвщик с Дампа, не меняла Хейвена с белыми башнями, а свой, местный, мелкий скупщик, что менял грязное на чистое по мелочи, кормясь с при-

ежей нужды, каких на таком миру заводится густо. Сидел он в задней комнатке за лавкой, где спереди торговали чем попало, а сзади делали настоящее дело. Я пришёл к нему, как приходил к старьёвщику, — показать малое, не показав ни сколько, ни откуда, — и всё повторилось почти как на Дампе, только тут я был уже не так неловок, уже знал, как держаться, и сердце моё билось тише.

Он повертел край, поглядел на меня, поглядел на край, и, как всякий из этого ремесла, сразу учуял, чем пахнет.

— Деньги-то не здешние, — сказал он не вопросом, а так, чтоб я знал, что он знает.

— Мои деньги, — сказал я ровно. — Откуда — моя забота. Твоя — сколько дашь.

Он ещё поглядел, пожевал губами, прикидывая, сколько можно с меня снять за то, что не спрашивает.

— За такое беру больше обычного, — сказал он. — Риск.

— Знаю, — сказал я. — Бери своё. Только по совести, а не по горлу.

— По совести нынче никто не берёт, — сказал он. — По совести — по миру пойдёшь.

— А ты возьми, — сказал я. — Возьмёшь по совести раз — приду другой раз. Возьмёшь по горлу — больше меня не увидишь, а с одного раза не разбогатеешь.

Это он понял. Наш брат жаден, да не глуп, и всякий из этого ремесла знает, что дойная корова дороже разовой поживы. Он усмехнулся на это, как усмехается тот, кому на-

помнили, что и у него есть предел, за которым его самого перестанут звать. Взял край, откусил свою долю, побольше старьёвщицовой, потому что тут за риск брали дороже, и отсчитал мне чистого. Не богатство, нет, но довольно, чтоб на учёнье, на платье, на квартиру получше и чтоб прожить, покуда не пойдут первые заработки. Я пересчитал, не спеша, при нём, — не потому, что не доверял, а потому, что считать при том, кто отсчитывает, положено, иначе сочтёт тебя за простака, а простаков доят, — сгрёб, поднялся и вышел. Вышел уже не нищим. Не богатым, нет, до богатства было далеко, а просто человеком, у которого есть на что начать. И это чувство — что есть на что начать, — было для меня новее и слаще многих. Полвека у меня не было на что начать. Полвека всё, что я имел, уходило на то, чтоб дотянуть до конца недели, а тут в кармане лежало начало.

С деньгами на руках всё двинулось разом. Я знал теперь, куда иду и что мне нужно, и шёл к этому прямо, не мешкая, потому что мешкать, зная дорогу, — только терять время, а времени мне было отпущено не так много, годы уже подпирали, пусть и скинутые на бумаге. Скинуть на бумаге можно, из зеркала не скинешь; я это помнил и торопился, покуда и тело держало шаг за бумагой.

Первым делом — учёнье. В городе, где строили без роздыху и всё надо было продавать, учили и продавать: были курсы, недолгие, месяца на два, где всякого желающего натаскивали в риэлторском ремесле — в бумагах, в законах,

в том, как показывать, как оформлять, как вести сделку, — и по концу давали бумагу, сертификат, без которого в приличное агентство не брали. Я разузнал про такие курсы, походил, поспрашивал, приценился к трём или четырём. Были подороже, при громких именах, куда шли те, у кого денег с избытком и кто хотел, чтоб об этом знали; были совсем дешёвые, по подвалам, где учили наспех и бумагу давали никудышнюю, с какой никуда. Я выбрал не самые дорогие и не самые дешёвые, а средние, приличные, куда шёл приезжий люд, что метил подняться, — там я был бы как все, ни богаче, ни беднее, ни приметнее прочих. Записался, заплатив вперёд. Два месяца ученья. Мне, полвека нахватавшемуся по верхам отовсюду, привыкшему схватывать чужое ремесло на лету, два месяца казались за глаза, я и за две недели взял бы, что мне нужно, но я знал, что важна не столько наука, сколько бумага и то, с кем я эти два месяца просижу бок о бок, потому что там, на курсах, и завязывались те первые ниточки, без которых в новом деле никуда. Я и деньги за курсы отдал вперёд без сожаления, хоть их и было жаль, потому что знал: это не за науку плачено, науку я и даром возьму, а за бумагу да за место среди своих. Бумага скажет чужим, что я обучен, а место рядом со своими даст ниточки, а ниточки в новом деле дороже всякой науки. Всякий, кто входит в чужой круг с улицы, — чужой, а кто входит через общее ученье, — уже вроде и свой: вместе мучились над одними бумагами, вместе пили жидкий чай, вместе метили подняться.

Второе — платье. Я пошёл и купил одежду, добротную, дорогую, хорошую, но не броскую, — три перемены, с толком, с разбором, приглядываясь, как приглядывался ко всему. Лавки тут были на всякий карман, и в дорогих меня встречали учтиво, как встречают человека при деньгах, что тоже было ново и тоже сладко: полвека меня в лавках торопили и глядели, скоро ли уйду. Я не спешил уходить. Я щупал ткань, глядел на шов, на то, как вещь сидит, и читал — читал не людей, а вещи, — что дорого, а кричит, что дорого, а молчит. Кричащее дорогое, всё, что било в глаза золотой ниткой да ярким лоском, всё, на что оборачиваются, я обходил, брал молчаливое, то, что стоит немало, а в глаза не лезет, что виднее знатоку, чем случайному глазу, — по покрою, по ткани, по тому, как ложится. Продавец, малый ловкий, тянул меня к яркому, к тому, что дороже да приметнее, ему с того была бы выгода, но я стоял на своём тихо и твёрдо, и он скоро отстал, поняв, что я знаю, чего хочу. Я взял три перемены, не больше: одну построжее, для дела, для агентства да для сделок, чтоб глядеть человеком твёрдым и надёжным; одну попроще, для всякого дня; и одну на случай, если понадобится глянуть чуть богаче, чем я есть. Больше трёх было ни к чему — лишнее платье тот же лишний след, лишний повод глазу зацепиться. Я мерил, глядел на себя в высокое лавочное зеркало, поворачивался и так и эдак, привыкая к чужому пока ещё человеку в дорогом сукне, и думал, что вот и платье — та же бумага, тот же паспорт: писано на нём, кто

ты, и по нему тебя и примут.

— Господин, видно, понимает толк, — сказал он под конец, уже без нажима, а с тем уважением, с каким торговец говорит с тем, кого не обманул.

Я понимал толк. Тихая роскошь — так, я после узнал, это звалось у тех, кто в этом понимал, а я дошёл до этого сам, чутьём, потому что вся моя наука была в том, чтоб быть заметным для нужных и незаметным для прочих. В таком платье я делался приличным господином, но приличным неярко, без вызова, — из тех, на ком глаз отдыхает, а не спотыкается. Дорогое молчаливое платье было той же невидимостью, только новой, для нового моего круга: в лохмотьях я был невидим среди голи, в этом — среди чистых.

Третье — жильё. Я съехал из своего угла на самой окраине, где селилась голь, того угла с окном, у которого просидел столько ночей, глядя на звёзды и на тьму, и снял квартиру получше, в квартале почище, не богатом, но приличном, где жили те, кто уже поднялся на первую ступень, — не хоромы, а скромное чистое жильё приличного человека, что твёрдо стоит на ногах и метит выше. Квартал был тихий, мощёный, с деревцами вдоль домов, что тут насадили нарочно, выписав издалёка, потому что на растущем миру и зелень была товаром; по утрам тут не орали с лесов, а чинно шли на службу чистые люди, и мусор увозили вовремя, и пахло не бетоном да варевом из общих кухонь, а ничем, что и есть запах достатка. Мне это было нужно не для удобства, удобства я и не

знал, к удобству был непривычен, спал по-прежнему чутко, рукою к бедру, — а для того же, для чего платье и бумага: чтоб сойти за своего в том кругу, куда я входил. Приличного человека выдаёт не только лицо и платье, но и то, откуда он и где живёт, и я подгонял под приличного всё, шаг за шагом, как подгонял лицо под паспорт у дешёвого мастера, чтоб нигде не осталось зазора, за который цепляется чужой глаз.

Я прошёлся по новым своим комнатам — их было целых две, и после клетушки в девять метров, где койка, стол и стена были одно, две комнаты казались мне хоромами, хоть для здешних приличных людей это было жильё скромное, чуть не тесное. Я не знал, куда девать простор. Стоял посреди комнаты и слушал тишину — не гул рециркулята, не чужой храп за переборкой, не капель из трубы, а тишину, — и она давила с непривычки, как давит тишина того, кто век прожил в шуме. Я подумал, что и к достатку надо привыкать, что и он даётся не сразу, что человек, долго проживший в тесноте, и в просторе первое время жмётся к стенке.

К вечеру того дня, когда всё было сделано — записан на курсы, одет, переселён, — я сидел у нового своего окна, в новой своей квартире, в новом своём платье, и глядел на растущий город. На стене висело зеркало, чего в прежнем моём углу не водилось, и, проходя, я поймал в нём себя — и не сразу признал. Из зеркала глядел приличный господин средних лет, чисто одетый, спокойный, из тех, кому есть на что жить и кому нечего бояться. Я подивился тому, как далеко ушёл

от того человека, что сходил с Профита на Дампе с ключом у бедра и горстью чужих денег. Тот был беглец, оборванец, списанный третий помощник, у которого всё имущество — три ключа врозь да жжёная рука. А этот, что глядел из зеркала, был приличный господин, приезжий, что взялся за ум и пошёл учиться новому делу, каких тут были тысячи. Никто, поглядев на меня, не признал бы во мне ни списанного, ни беглеца с деньгами мёртвых. Я снова стал другим, ещё раз, — сколько уже раз меня переделывали и переделывал я себя сам: списали — и стал никем, справил паспорт — и отдал фамилию, подправил лицо — и скинул годы, а теперь вот оделся, переехал, сел учиться — и стал приличным господином. Стирают по частям и лепят по частям — имя, лицо, годы, платье, — и всякий раз выходит будто новый человек. И, думая об этом, у нового своего окна, рука моя сама потянулась к бедру, где под дорогой новой тканью лежали три старых жетона, единственное, что осталось во мне неизменным через все переделки, единственное, чего не сменить ни на какое новое платье, — тяжесть, за которую убивают, и ради которой я всё это и затеял.

Глава 33. Курсы

Курсы держались в чистом, но небогатом здании в срединном квартале, там, где город уже отстроился и не пах свежим бетоном, а жил ровной деловой жизнью. Дом был из тех, что ставят для дела, а не для жилья: голые опрятные коридоры, ряды одинаковых дверей, за одной учили на счетоводов, за другой на приказчиков, за третьей вот на нас, продавцов домов. Комната была светлая, с длинными столами и доскою, и большим окном, за которым виднелись крыши да краны на дальних окраинах, где город всё ещё лез вверх. Я приходил загодя, садился так, чтоб видеть дверь и всю комнату разом, — привычка старая, с нижнего уровня, где спиной к входу спать нельзя, — и оттуда, из своего угла, оглядывал публику.

Мне было чудно сидеть вот так, за чистым столом, при бумаге и карандаше, среди людей, что пришли учиться, — я, полвека проработавший руками да глазами, ученья книжного не знавший, всё хватавший на лету, у кого придётся, — а тут вдруг сел за парту, как малый. Последний раз меня чему-то учили так давно, что и не вспомнить; после только швыряли в работу и велели справляться, а не справишься — спишут. Тут же учили не спеша, за деньги, и это само по себе было мне внове, и я, глядя на доску, нет-нет да и дивился, куда занесла меня дорога от той стенки, у которой меня списали.

Собиралось нас десятка три, и я, оглядев в первый день эту публику, увидел то, что и ждал увидеть, — таких же приезжих, что метили подняться, взявшихся за ум, купивших, как и я, приличное платье и бумагу на будущее ремесло. Были тут молодые, что рвались вверх с горящими глазами, ловили всякое слово учителя, будто в нём была вся их судьба, и, может, в нём она и была. Были постарше, что меняли профессию, устав от прежней, — по рукам, по спинам, по тому, как садились, видно было, что прежняя их жизнь была не сахар и что сюда их пригнала не блажь, а нужда пересесть с тяжёлого на чистое, покуда не поздно. Были женщины, что искали своё дело, кто помоложе, кто в летах. И все, приглядевшись, оказались немного не тем, за кого себя выдавали: у всех было прошлое, о котором не говорили, и все чуть-чуть привирали про то, кем были прежде, — этот набавлял себе прежнюю должность, тот убавлял годы, третий сказывался приехавшим оттуда, откуда пороху не нюхал. Я слушал их вранье и дивился, до чего оно неумелое, до чего белыми нитками шито, — так что я среди них был как рыба в воде, потому что моё враньё против ихнего было работой мастера против мазни. Меня-то переделывали набело, с бумагой, с лицом, с годами, а они ввали на живую нитку, и всякий, кто умел глядеть, читал их насквозь. Я умел. Я их читал, а меня — никто.

Учил нас человек немолодой, сам когда-то торговавший домами, а теперь кормившийся тем, что натаскивал других.

Из тех, кто своё оттоптал, поизносился на деле и перешёл учить, потому что учить легче, чем делать. Он знал ремесло, но знал его снаружи, как знает своё дело всякий средний работник, — правила, бумаги, приёмы, заученные слова, — и по тому, как он говорил, гладко, но без огня, видно было, что великих сделок за ним не водилось, что и сам он был из середняков, из тех, кого продажа кормила, да не богатила. Он рассказывал, как оформить сделку, какие бумаги нужны, какие законы блюсти, чтоб не влететь, как вести показ, как расхвалить квартиру, как торговаться, как дожимать покупателя до подписи.

— Покупателя надо вести, — говорил он, расхаживая перед доскою. — Не давать ему опомниться, не давать думать. Кто думает, тот не покупает. Хвалите вид, хвалите свет, хвалите соседей, говорите, говорите, куда он не подпишет.

И всё это была наука полезная, нужная, без неё в дело не войдёшь, и я слушал внимательно и запоминал, потому что бумаги, законы, порядок оформления — этого чутьём не возьмёшь, этому надо выучиться, и я учился, как учился всю жизнь чужому ремеслу, схватывая на лету. Я и пилотаж так брал, и груз, и ремонт, по верхам, по чуть-чуть, от всякого, кто рядом, и оттого знал понемногу всё, чего иной за целую жизнь у одного станка не узнает.

Но чем дольше я слушал, тем яснее видел, что вся наша наука обходит стороной самое главное. Учитель толковал про метры и бумаги, про то, как расхвалить квартиру да как

не дать покупателю опомниться, а про то, как читать того, кому её продаёшь, не говорил ни слова, потому что и сам того не умел. Он учил говорить. А я-то знал, глядя на худых продавцов на показах, что дело не в том, чтоб говорить, а в том, чтоб смотреть, что вся продажа решается не языком, а глазом, не тем, что ты скажешь, а тем, что ты прочтёшь в том, кому говоришь. Его совет — не давать покупателю думать, говорить без умолку — был совет для слепого: слепой и вправду только и может, что молоть языком наугад, потому что не видит, куда бить. А зрячему болтать незачем. Зрячий поглядит и увидит, что вот этот пришёл не за метрами, а за покоем, а тот не квартиру покупает, а тщеславие своё тешит, а третьей и дом не нужен, ей нужно, чтоб её уговаривали, — и с каждым надо по-своему, не языком, а глазом. Этому на курсах не учили. Этого учитель и сам не знал, и не по глупости, а потому, что этому не выучишь, с этим родятся или проживают, глядя, полвека. Я-то проживал, глядя, полвека. Всю жизнь читал людей поневоле, потому что тому, кто внизу, читать сильных — то же, что зверю чуют ветер: не учуешь вовремя, кто в духе, кто в злобе, кто тебя спишет, а кто пропустит, — и пропал. Я читал начальство, чтоб уцелеть, читал соседей по клетушке, чтоб не обобрали спящего, читал таможенника на заставе, усталый он или злой, и по тому решал, к какому податься. Это была не наука, а шкура, наросшая от битья. И вот то, что наросло от битья, чем я всю жизнь только и спасался, тут вдруг делалось ремеслом,

за которое платят, — и я один это видел, а прочие, и учитель их, толковали про метры да бумаги. И я, сидя среди прочих и прилежно записывая про бумаги и метры, понимал, что то, чему тут учат, — это ремесло среднего работника, а то, чем я возьму, при мне уже есть, и никакие курсы мне его не дадут и не отнимут. Курсы дадут бумагу и порядок. Дар свой я принесу с собою.

Оттого я и учился спокойно, без надрыва, с каким рвались молодые. Мне не надо было выделяться, не надо было быть первым учеником, — быть первым учеником значило стать заметным, а заметным мне было нельзя. Я это помнил всякую минуту, как помнят больной зуб. Первый ученик у всех на виду, о нём говорят, его запоминают, к нему приглядываются, а мне только того и не хватало, чтоб ко мне приглядывались. Я знал ответ на всякий вопрос учителя, а то и больше знал, чем он, — где он путал закон, я видел, что путает, — но помалкивал или отвечал ровно, толково, а не блестяще, так, чтоб сошло за старание, а не за ум, чтоб не запомнили. Раз или два меня подмывало поправить учителя, там, где он врал совсем уж грубо, но я сдержался: поправить учителя — стать умнее учителя на глазах у всех, а это первый способ, чтоб тебя запомнили и невзлюбили разом. Я сидел в середине, отвечал, когда спрашивали, держался середняком, каким был всю жизнь, и никто на курсах не глядел на меня дважды, приняв за то, чем я прикидывался, — за приличного приезжего средних лет, что степенно осваивает новое дело. Так

мне и надо было. Полвека меня не замечали поневоле, и это было горько; теперь я не замечал себя нарочно, и в этом была сила. Я приберегал себя для показов, для сделок, где мой дар нужен, а тут, на ученье, был как все, тих и незаметен, и копил тем временем не столько науку, сколько то, что дороже, — ниточки.

Потому что курсы, я понял это скоро, были не столько ученьем, сколько местом, где завязывались первые связи. Тут сидели бок о бок те, с кем мне после работать в одном ремесле, в одних агентствах, тут приглядывались друг к другу, сходились, прикидывали, кто чего стоит. В перерывах, за жидким чаем в конце коридора, шли разговоры — кто в какое агентство метит, у кого какой знакомый уже пристроился, где платят, где надувают, — и в этих-то разговорах, пустых будто бы, ни о чём, и было всё дело. Я стоял с чашкой в стороне, слушал вполуха, ронял слово-другое к месту и складывал в память: этот хвастлив — проговорится; тот завистлив — станет пакостить; эта востра, да не глубока; тот тих, да себе на уме, вроде меня.

Один молодой, из тех, что рвались вверх, подсел ко мне раз с чашкой и стал допытываться, кем я был прежде да откуда приехал, — не из приязни, а прикидывая, соперник я ему или нет.

— А вы, стало быть, из дальних? — спрашивал он. — Поговору не разберу. И к делу, видать, не новичок?

— Новичок, как все, — сказал я. — Был по хозяйственной

части, поездил, поглядел свет, а под старость решил осесть да заняться чем потолковее.

Он покивал, успокоенный, — записал меня в неопасные, в отставшие, в те, кого обгонишь не запыхавшись, — и отстал, и я того и хотел. Пусть числят меня обозом. Обоз идёт позади и приходит целым, когда передние уже переломали ноги.

В перерывах, за жидким чаем в конце коридора, все жались друг к другу, знакомились, менялись словом, и я тоже брал свою чашку и стоял с краю, слушая. Тут узнавалось больше, чем на уроке: кто с кем сошёлся, кто кому набивается, у кого за душой пусто, а кто и вправду с деньгами да со связями и пришёл сюда лишь за бумагой, как я. Я запоминал лица, имена, кто где думает пристроиться, и складывал, складывал, — не затем, чтоб пустить в ход завтра, а на потом, впрок, потому что ниточка, что нынче ни к чему, через год может вытянуть целую сделку. Так я всю жизнь и копил — не деньги, деньги не держались, а знание про людей, единственное, чего у меня не отняли при списании. Я, тих и незаметен, приглядывался ко всем, читал их, как читал всякого, складывал в память, кто из них пойдёт далеко, кто сорвётся, кто окажется полезен, а кого лучше обойти. Я не сближался ни с кем нарочно, сближаться нарочно значило выдать интерес, а интерес виден, интерес — тот же зазор, за который цепляет чужой глаз. Я просто был рядом, ровный, спокойный, приветливый в меру, никому не в тягость и ни для кого не загадка, и понемногу становился в этой пёстрой

публике своим, не выделяясь, не набиваясь, как становится своим тот, кого примечают не сразу, а потом уже не помнят, когда он появился, будто он был всегда. Это я умел лучше всякой науки. Так я и на Профите прожил три года — вроде и есть, а вроде и нет, куда не понадобился.

И всё ж тут было иначе, и я это чувствовал. На Профите я прятался оттого, что был никто, и прятаться было легко, — никто и не глядел. Тут я прятался нарочно, будучи уже кем-то, и это было труднее. Тут мне надо было расти и не выситься, богатеть и не звенеть монетой, делаться в деле первым — и оставлять первенство при себе. Успех тянул на свет, а мне на свет было нельзя, и всей этой науке — как подняться, оставшись невидимым, — не учил меня ни один учитель, её я должен был выдумать сам, на ходу, и в ней, а не в метрах да бумагах, и было всё моё настоящее ученье.

И вот тут, на второй или третий день, я и заметил её.

Она сидела наискось от меня, и заметил я её не потому, что она была хороша, а потому, что она была не как все. Я и глядел-то по привычке, обводя комнату, складывая лица, — и на ней глаз зацепился, как запинается о то, что не ложится в общий ряд. Высокая, выше многих мужчин, крепкого, почти мужского сложения, с коротко стриженными каштановыми волосами и загорелой, обветренной кожей человека, что жил не в холе, а под открытым небом, на ветру, на солнце, в работе. Руки у неё, я заметил, были не барские, а рабочие, привычные к тяжёлому. Я поглядел на эти руки и подумал, что

она, как и я, пришла сюда из работы, из настоящего труда, а не из чистых контор, и что ей это дело — тоже пересадка с тяжёлого на чистое, откуда спина ещё держит. Может, оттого она и не привирала: кто ломал спину по-настоящему, тому мелко хвастать выдуманном прошлым. Лицо у неё было не миловидное на первый взгляд, а на второй приятное, из тех лиц, что не бьют красотой сразу, а нравятся понемногу, чем дольше глядишь: крупное, спокойное, с прямым твёрдым взглядом. Она держалась прямо, спокойно, без той суеты, что была во всех прочих, — не рвалась вверх, как молодые, не жалась, как робкие, не набивалась, не привирала, сидела ровно, слушала, а когда учитель спрашивал, отвечала твёрдо, коротко, без лишнего слова, и садилась опять. Раз учитель спросил её о чём-то, чего она, видно, не знала, и она не стала выкручиваться, не забормотала, как бормотали прочие, лишь бы не показаться глупой, а сказала прямо, что не знает, и стала слушать ответ. Меня это отметило пуще всего. Не бояться показаться незнающим — на это надо силу, а силы в этой пёстрой публике, где всякий надувал щёки, я больше ни в ком не приметил. И в этой её прямоте и спокойствии было что-то, что меня зацепило, — не как мужчину зацепляет женщина, об этом я давно уже не думал, годы и жизнь отучили, — а как цепляет глаз человек, что не прячется, что таков, каков есть, среди тех, кто весь в притворстве.

Я, всю жизнь читавший людей, привыкший разбирать всякого с одного взгляда, как разбирают открытую бумагу, —

поймал себя на том, что читаю её и не могу прочесть до конца. Прямота её была видна, спокойствие видно, сила видна, а за ними стояло что-то, чего я с ходу не разбирал, какое-то донце, до которого я не доставал глазом. Не то чтоб она пряталась, — она как раз не пряталась, и оттого-то было чудно, что не прячется, а не прочесть. Обыкновенно люди прячутся, а я вижу сквозь, тут же не прятался никто, а я не видел до дна. И это было мне внове, до того внове, что я даже удивился про себя, потому что людей я обыкновенно разбирал с одного взгляда, а тут глядел, глядел и не разобрал. Чиф когда-то, на Профите, сказал мне, что я всякого вижу насквозь, как сквозь мутное стекло; а как же иначе, отвечал я тогда, коли всю жизнь только тем и жив. А тут вот попало стекло, сквозь которое я не видел, и стекло это было — простая рослая женщина в приличном сером платье, что сидела наискось от меня и отвечала учителю коротко и твёрдо. Я отвёл глаза и вернулся к своим бумагам, к метрам да законам, что записывал прилежным средним учеником. Но зарубку сделал, как делал всегда, как делал с той дальней меткой в журнале, что велено было стереть, а я запомнил про себя. Приметил.

Глава 34. Риша

Заговорила первой она, не я. Я бы не заговорил — я держался ото всех ровно и в стороне, ни с кем не сближаясь нарочно, потому что сближаться значило выдать интерес, а всякий, кто меня узнает ближе, становился ниточкой, за которую могут после потянуть. Живой человек, что тебя знает, опаснее строки в реестре: строку запутаешь, подотрёшь, купишь новую, а память не запутаешь и не купишь, память живёт сама по себе и всплывает тогда, когда её не ждёшь. Оттого я и не искал знакомств, и за полвека выучился этому так, что уже и не помнил, каково это — искать.

Курсы наши шли в низком длинном зале на втором ярусе торгового дома, где днём было светло от большого окна во всю стену, а за окном стояла та самая живая планета, ради которой я прошёл через полмира: стройки до самого края земли, краны, что кланялись небу, пыль столбами над котлованами и небо, настоящее небо, синевшее поверх этой пыли. Я и через два месяца не привык к тому окну. Всю жизнь за стеклом у меня стояла мёртвая тьма или мёртвый камень, а тут за стеклом шла жизнь, и я нет-нет да и ловил себя на том, что гляжу в него, как приезжий, как деревенщина, и одёргивался, потому что глазеть в окно значило зазеваться, а зазеваться мне было нельзя. Внутри пахло разогретой пылью от нагревателей, синтетическим кофе из автомата в углу и тем

особым запахом нового, необжитого места, каким пахнут все растущие миры без разбору, — запахом краски, пластика и спешки.

Народу набивалось десятка три, всё больше молодых, приезжих, таких же перекаати-поле, как я, только с горящими глазами. Они лезли вперёд, тянули руки, переспрашивали, записывали за преподавателем каждое слово, будто в тех словах и был спрятан их будущий достаток. Преподаватель, вялый человек с усталым лицом, что и сам, видно, ничего в жизни не продал крупнее себя, стоял у доски и ровным скучным голосом толковал про законы о жилье, про бумаги, про то, как оформить сделку да как взять своё с покупателя и не попасть под закон. Я сиделся всегда с краю, у стены, поближе к окну и подальше от чужих глаз, слушал вполуха — половину этого я знал и так, из жизни, из чужих бумаг, что перевидал за полвека, — и помалкивал, и не тянул руки, и старался быть как мебель, как то пустое место, каким привык быть весь свой век. Быть незаметным было моё единственное ремесло, отточенное вернее любого другого, и я нёс его и сюда, в этот светлый зал, как носил всюду.

Из своего угла я приглядывался к людям, как приглядывался весь век, не от любопытства, а по привычке, потому что читать тех, кто рядом, было мне вместо брони, а броня мне была нужна всегда. Молодые эти, что рвались вперёд, были мне открыты, как открыта ладонь: я видел, кто из них добьётся, а кто прогорит, кто врёт себе про будущее, а кто и

вправду сдюжит. Видел, что вон тот, бойкий, с громким голосом, — пустой, весь снаружи, такого покупатель раскусит с первого слова; а вон та, тихая, что жмётся к стене, как я, — та далеко пойдёт, если не сломается, потому что слушать умеет, а слушать в нашем деле дороже, чем говорить. Я читал их и молчал, и никому не говорил, что вижу, потому что показать, что видишь целое там, где все видят по кусочку, — значит выдать себя, стать приметным, а приметным мне было нельзя. И оттого дар мой, единственное моё богатство из тех, что на виду, я и тут держал под спудом, как держал ключ у бедра, — при себе, втайне, до своего часу.

Но она подошла сама, в перерыве, когда все толклись у выхода, у автомата с водой, и встала рядом, высокая, прямая, и сказала без обиняков, как, я после узнал, говорила всё:

— Ты тут один такой, кто не суетится. Все рвутся, а ты сидишь, будто тебе всё наперёд ясно. Либо ты уже в этом деле бывал, либо тебе просто нечего терять.

Я поглядел на неё и не сразу нашёлся, потому что она попала близко, ближе, чем думала. И то, и другое было правдой: я и бывал во всяком деле по верхам, и терять мне было нечего — из того, что видно. А что было невидимо, что лежало у бедра холодным ключом да теплилось в чужих мёртвых учётках за внешней тьмой, того ей знать было не нужно и нельзя. Мне бы отойти, отделаться пустым словом, как я отделялся ото всех, кто заговаривал со мной за эти недели. Но было в ней что-то, что не давало отойти, — не хитрость,

не выгода, а прямота, какой я давно не встречал в людях, и я против воли задержался.

— Просто немолод, — сказал я. — В мои годы уже не суетятся. Отсуетился своё.

Она усмехнулась, коротко, без жеманства, как усмехается человек, которому и вправду смешно, а не тот, кто улыбкой чего-то хочет.

— И я отсуетилась, — сказала она. — Меня зовут Риша.

Так мы и познакомились. Её звали Риша, и была она мне ровесница или около того, годам к сорока пяти, и в ней не было ничего от тех женщин, что прячут свои годы и жеманятся. Лицо у неё было обветренное, твёрдое, с сеткой ранних морщин у глаз, какие кладёт не возраст, а жизнь на скудном месте; руки крупные, рабочие, каких не спрячешь ни под каким лоском. Она несла свои годы прямо, как несла всё, и от этой прямоты с ней было легко, легче, чем со всеми прочими на курсах, потому что с ней не надо было разгадывать, что за словами, — она говорила ровно то, что думала, а это я в людях встречал так редко, что и не сразу поверил, всё ждал подвоха, второго дна, того скрытого расчёта, что таится у всякого под ровным словом. Подвоха не было. Я приглядывался к ней ту первую неделю так, как приглядывался ко всему на этой планете, — с оглядкой, ища ловушку, — и ловушки не находил, и это само по себе тревожило меня, потому что я не привык к людям без ловушки.

Первое время я всё ждал, что ловушка вот-вот покажется,

что она подседа неспроста, что ей чего-то от меня надо, — так уж я был приучен, что даром к тебе никто не подойдёт, а подойдёт — гляди в оба. Я даже прикидывал, не подослана ли, не приставлена ли кем следить, — но нет, для подосланной она была слишком пряма, слишком в открытую, а тех, кого подсылают, я за версту чуял по особой их вкрадчивости, по тому, как они заходят издалека. В ней вкрадчивости не было ни на волос. И, не найдя ловушки, я мало-помалу перестал её ждать, а это само было со мной впервые за долгие годы — перестать ждать от человека подвоха.

Мы стали держаться рядом, само собой, как держатся двое, кому проще друг с другом, чем с суетливой молодёжью вокруг. Сиделись рядом у той стены, вместе разбирали заданное, — она подвигала мне свои записи, я ей свои, — а после занятий заходили иной раз в кафе напротив, через дорогу от торгового дома, выпить, поесть, посидеть. Я и сам не заметил, как это повелось. Всю жизнь я уходил один и приходил один, и вдруг оказалось, что кто-то ждёт меня у выхода, и я иду не в пустой свой угол сразу, а сперва туда, за столик, и мне не в тягость, а в пору.

Дорога до кафе была короткая, через одну улицу, но я и её запомнил на всю жизнь, потому что впервые за полвека шёл этой дорогой не один. Мы выходили из торгового дома в вечернюю толчею, в пыль, в гомон, в запах бетона и жареного с уличных лотков, и шли рядом, не спеша, и она рассказывала на ходу что-нибудь из дневного, а я слушал вполуха и

вполглаза, потому что другой половиной глаза всё равно, по привычке, стерёг улицу — кто идёт следом, кто глядит, кто задержался у витрины дольше нужного. Так уж я был устроен, что и в тепле сторожил, и, верно, до смерти не разучусь. Но рядом с ней сторожить было легче, будто нас двое стало против улицы, а вдвоём и улица не так пуста, и тьма за её краем не так черна.

И там, за тем столиком, она понемногу рассказала мне про себя, а я про себя — сколько мог рассказать.

Она рассказала, что приехала издалека, с планеты много хуже этой, — безатмосферной, глухой окраинной планеты, где прожила всю жизнь, как я прожил на Даунсайте, в тесноте, при считаном воздухе, ничего не видя, кроме камня да мёртвого неба за куполом. Я слушал и узнавал, потому что и сам оттуда, из такого же камня, и не надо было ей объяснять мне, что значит мерить воду кружкой, а воздух — вдохом, и жить в клетушке, где стена от стены на три шага. Муж её был космодесантник, служил по дальним войнам, и его убили где-то далеко, на войне, о которой она и названия толком не знала, — просто пришла бумага, что нет больше, и всё, как приходят такие бумаги ко всем, кто внизу. Я знал эти бумаги. Сухая строка, номер части, слово погиб, и ни тела, ни могилы, ни правды — тело осталось где-то в чужой тьме, а вдове камень да сын на руках. Осталась она одна с сыном, и сын вырос и пошёл по отцовой дороге, в космодесант, потому что для таких, как они, других дорог наверх не было,

— либо камень, либо война, третьего дна не давало. И вот сын, дослужившись, поднявшись, скопив, сделал то, чего не делают почти никогда, о чём только мечтают на дне и во что не верят: вытащил мать со дна. Оплатил ей переезд сюда, на живую растущую планету, оплатил и ученье, вот эти самые курсы, чтоб она, немолодая уже, могла начать тут новую жизнь, приличную, при деле, под настоящим небом. Он далеко, сказала она, служит, редко пишет, а как выпадет служба поспокойнее, обещал приехать. И, рассказывая про сына, она делалась мягче, теплела лицом, и твёрдые её черты разглаживались, и я видел, что весь свет её жизни теперь в нём, в этом сыне, что вытащил её с камня на живую землю.

Я слушал и складывал в память, как складывал всё, и думал, что вот человек, чья судьба вывернута наизнанку против моей. Её со дна вытащила любовь, сын, живая рука, протянутая сверху. А меня — деньги мёртвых, чужой ключ, снятый холодной левой рукой с холодного борта. Её подъём был чист, и оттого она несла его открыто, ничего не таясь, рассказывала первому встречному, гордясь сыном, и могла бы прокричать его на весь зал, и никто бы ей не был судья. А мой подъём был весь в тайне, и я не мог рассказать про него ни ей, ни кому, и оттого, слушая её открытую чистую историю, чувствовал себя вдвойне обманщиком, потому что ей отвечать надо было ложью, и я уже знал, какой.

Странное дело: чужим врать мне было легко, а врагу — и вовсе в радость, потому что враг того и стоит, чтоб его обма-

нуть, обман врага — это оружие, а оружием я владел лучше всякого. А вот врать этой прямой женщине, что не желала мне зла, что открыла мне своё без утайки, — это было тяжело, как не бывало тяжело ни на одной заставе, ни перед одним служакой. Там я лгал, чтоб уцелеть, и совесть молчала, там ложь была права. А тут я лгал тому, кто протянул мне ладонь, и совесть, которую я считал давно стёртой, дном выжженной, вдруг подала голос, тихий, полузабытый, и я подивился, что она во мне ещё жива, — думал, стёрлась начисто, ан нет, тлела где-то уголёк под золой.

И я ответил ложью, той, что заготовил заранее, гладкой, скучной, к которой не прицепишься. Сказал, что работал на корабле, долго, дальние рейсы, доверенным лицом при деле, — не пилот, не грузчик, а из тех, кому доверяют бумаги, счёт, груз, — и что за годы скопил немного, а как вышел по возрасту, решил сменить ремесло, осесть на живой планете, заняться чем поспокойнее, под небом. Ложь была тихая, правдоподобная, наполовину даже правда, потому что доверенным лицом при чужом деле я и вправду был всю жизнь, только доверяли мне не по чести, а по никчёмности, за нуль, за то, что нуль не сворует, ему нечем и некуда. Я сказал это ровно, глядя в стол, без лишних подробностей, потому что лишняя подробность и топит лжеца: он думает, деталь красит, а деталь — это лишний узел, за который тянут. Она поверила, не переспросив, не прищурившись, потому что моя ложь была скучна, а скучному верят: занятный обман будят

проверить, а на скучный махнут рукой, скучное всякий рад пропустить мимо ушей. И мне сделалось от её доверия нехорошо, как делается нехорошо тому, кто обманывает не врага, а того, кто к нему расположен, кто открыл тебе своё настоящее в ответ на твоё поддельное.

А она была ко мне расположена, я это видел, читал по всему, хоть читал её и не до конца. Не так, как женщина к мужчине, — об этом ни я, ни она в наши годы не думали, да и не о том была речь, — а так, как располагается человек к человеку, в котором чует ровню, своего, такого же поднявшегося со дна и оттого понятного без слов. Ей, я видел, было со мной легко, как и мне с ней, и она искала моего общества так же, как я, сам не желая того, начал искать её, — потому что двое, поднявшихся со дна, узнают друг друга в толпе по каким-то приметам, каких не объяснишь, и тянутся друг к другу, как тянутся земляки на чужбине, услышав родной говор. И я, всю жизнь одинокий, всю жизнь ни к кому не прираставший, вдруг поймал себя на том, что жду этих наших посиделок, что мне не тошно, а хорошо от её прямого спокойного общества, — и в этом хорошо было что-то давнее, полузабытое, и я не сразу понял, откуда его знаю. А после понял: так же легко и просто было мне разве что с Чифом, в двигательной, под флягу, когда не надо было ни притворяться, ни беречься, ни держать лицо, когда рядом был человек, что видел тебя насквозь и не спрашивал ничего. Один Чиф за всю мою жизнь и был мне таким, и вот теперь она.

Вечерами, вернувшись к себе, в скромный свой угол с окном, я подолгу не спал, лежал, положив по старой памяти руку на бедро, где под одеждой холодел ключ, и глядел в окно, на чужие звёзды, на внешнюю тьму, откуда, может, уже шёл ко мне тот, кто недобрал своего с мёртвого борта и, спохватившись, пустился по следу денег мёртвых. И, глядя в ту тьму, я думал о ней, о Рише, и ловил себя на том, что думаю не о деле, не о ключе, не об опасности, а просто о живом человеке, что назвал меня по имени и сел со мной рядом, — и это было ново, и это было сладко, и это меня пугало больше тьмы за окном. Тьма за окном была враг понятный, от неё я знал, как беречься: не свети, не след, не спи среди людей. А тёплое это, живое, что подбиралось ко мне не снаружи, а изнутри, было врагом невиданным, и как от него беречься, я не знал, потому что берёгся всю жизнь ото всего на свете, кроме тепла, — тепла в моей жизни не было, и защиты от него я не выучил, не было случая.

И тут же я осадил себя, как осаживал всё, потому что человек, к которому ты прирос, — это ниточка, а ниточек мне было нельзя, и меньше всего такую, живую, тёплую, что тянет к откровенности, а откровенность для меня была смерть.

Глава 35. Кафе

Так и повелось у нас за эти два месяца: занятия, а после кафе напротив, где мы садились в углу, брали поесть да выпить понемногу и сидели, покуда не темнело. Кафе было простое, для приезжих, что подымаются, — чисто, недорого, шумно, — с длинными столами посередине для молодых да компаний и с малыми столиками по стенам, для тех, кто хочет посидеть тише. Мы облюбовали угловой, у самого окна, откуда видна была улица, а на улице — вечная стройка, огни кранов в густеющих сумерках, потоки приезжего люда, что валил с работ, весь в бетонной пыли, голодный, галдящий. Я всегда садился спиной к стене, лицом к двери, — привычка старая, глубже кости, я и не помнил уже, когда её нажил, — чтоб видеть, кто входит, чтоб никто не встал у меня за плечом. Она заметила это раз, что я всегда занимаю то место, спиной к углу, но ничего не сказала, только пересела к другой стене, чтоб мне было ловчее, и я был ей за то молча благодарен, потому что она уступила мне, не спросив зачем, а незачем и было объяснить.

Приходили мы туда так часто, что нас стали узнавать. Подавальщик, молодой парнишка из приезжих, кивал нам, как знакомым, и нёс, не спрашивая, то, что мы обыкновенно брали, и это было первое место за всю мою жизнь, где меня узнавали не как единицу в реестре и не как поживу, а как завсе-

гдая, приличного господина, что ходит сюда с приличной дамой. Мне бы радоваться, а я нет-нет да и вздрагивал внутри: узнавать значит запоминать, а запоминать значит след, а след — это то самое, чего я боялся пуще смерти, потому что по следу и приходит тот, кто ищет. Всякий, кто станет после меня искать, дойдёт до этого кафе, и парнишка вспомнит, и скажет, и покажет угол, где я сидел. Но след был тонкий, привычный, каких на живой планете тьма, — тут все ходят, едят, примелькаются, тут человек на виду и оттого невидим, как невидим лист в лесу. И я позволял себе эту малую неосторожность, эту роскошь быть узанным добром, потому что уж больно хорошо мне было в том углу, и я, впервые за полвека, шёл на риск не ради денег, а ради тепла.

Брали мы всегда немного и почти одно и то же. Она — чаю да настоящего хлеба, что был ей в диковину, я — чего поплотнее да иной раз стопку местного, слабого, кисловатого, что тут гнали из чего-то тамошнего, растущего. Пили мы оба мало, по глотку, растягивая, — она оттого, что не любила хмеля, а я оттого, что хмель развязывает язык, а мне язык надо было держать на привязи, и я за всю жизнь выучился пить так, чтоб не пьянеть, чтоб чужие пьянели, а я глядел трезво да слушал. Но с ней я и трезвый отпускал себя чуть больше обычного, на волосок, — не язык, язык я стерёг, а нутро, — и этот волосок воли был мне слаще всякого хмеля. Мы сидели, покуда за окном не догорали огни кранов и не зажигались редкие лампы в новостройках, и в этом мед-

ленном сидении, в тёплом углу, за малой едой, было столько покоя, сколько я не знал, кажется, отродясь.

Говорили мы обо всём и ни о чём. О ремесле, которому учились, — она схватывала бумаги и законы туго, путалась в статьях и оговорках, зато людей чуяла верно, не так тонко, как я, а по-женски, по-матерински, наперёд угадывая, кто чего боится и кто чего стыдится, и мы, бывало, разбирали вдвоём заданный урок, и вместе выходило лучше, чем у каждого порознь: я ей растолковывал бумагу, она мне — человека за бумагой, и мы латали друг другом свои прорехи. О планете говорили, о том, как она растёт не по дням, где что строят, какие кварталы поднимаются, а какие только размечены под будущее, куда лучше податься по концу курсов, где спрос гуще. О пустом говорили, о таком, о чём и не упомянешь после, а тепло от него держится, — о том, что синтетику она, как и я, теперь на дух не переносит, наевшись её за жизнь на камне, до тошноты, до оскомины, и что настоящий хлеб для неё до сих пор чудо, и она отламывает его медленно, как отламывают дорогое, и я узнавал в том себя, потому что и сам первое время держал живую еду во рту, не веря ей. Говорили о том, что вода тут течёт из крана сколько хочешь, даром, без счёта, и первое время она, как и я, не могла к этому привыкнуть, всё берегла, ловила себя на том, что моется по норме, закрывает кран посреди струи, хоть нормы тут нет и никто за воду не спросит. Мы смеялись над этим, над нашей низкой привычкой беречь то, чего тут вдоволь, над

тем, как рука сама тянется прикрутить, прикрыть, отмерить, — и в этом общем смехе над общей нашей давней бедностью было столько родного, сколько я не знал ни с кем, кроме, может, Чифа, в двигательной, под флягу, когда мы двое смеялись над тем, над чем чужой бы не засмеялся, потому что чужой не поймёт, а свой поймёт с полуслова.

— А помнишь, — говорила она иной раз, — как первый раз воду из крана пустил и не закрыл, сидишь, глядишь, как течёт, и жалко, аж сердце щемит?

— Помню, — говорил я. — Стоял над раковиной, как дурак, и всё ждал, что сейчас перекроют.

— И я, — смеялась она. — Всё жду, что мигнёт лампа, что норма вышла. А она не мигает. Небу тут не жалко.

Мы смеялись негромко, в углу, над тем, над чем никто вокруг бы не засмеялся, потому что вокруг сидели те, кто родился под небом и не знал, что вода и воздух бывают по норме, по кружке, по вдоху. А мы знали, и оттого простой текущий кран был нам обоим тихим ежедневным чудом, и мы этим чудом друг с другом делились, как делятся тайной.

Случалось, мы за тем угловым столом играли в будущее наше ремесло, как играют дети во взрослых. Она загадывала мне человека — вот, мол, пришёл покупатель, немолодой, при деньгах, а сам мнётся, — а я должен был угадать, чего он на самом деле хочет, что у него на уме под словами.

— Ему не квартира нужна, — говорил я. — Ему нужно показать себе, что он выбился. Он не метры покупает, а то,

чтоб самому поверить, что поднялся. Продай ему не метры, а эту веру, и он твой.

— Ишь ты, — качала она головой. — А я гляжу и вижу только, что при деньгах да мнётся. А ты вон куда достаёшь. Тебе бы не жильё продавать, тебе бы людей насквозь читать за деньги.

Я усмехался и молчал, потому что людей насквозь я и вправду читал и вправду тем и жил, только не так, как она думала, и платили мне за это чтение не тем и не те, о ком она думала. Ей эта игра была забавой, а мне — той редкой отрадой, когда можно дар свой вынуть на свет хоть краем, показать, не выдав, для чего он на самом деле выточен.

Она поминала сына часто, при всяком почти случае, к слову и без слова, и я привык к нему заочно, как привыкают к тому, о ком много слышат, — знал уже, каким он был в детстве, чем болел, как учился, чего боялся. Она рассказывала, каким он рос на камне, худым да упрямым, как рвался в небо, как таскался мальцом к причальным шлюзам глядеть на корабли, как боялась она за него, когда он ушёл в десант отцовою дорогой, той самой, что забрала отца, — и как гордится теперь, что он поднялся, что не сгинул, как отец, а выслужился, встал на ноги и вытащил её. Она показала мне раз его снимок — молодой крепкий парень в форме, серьёзный, коротко стриженный, с её прямым твёрдым взглядом, глядящий в объектив в упор, без улыбки, — и в том, как она держала этот снимок, бережно, двумя пальцами за край, как

держат то, что бояться замусолить, было столько тепла, что я отвёл глаза. Отвёл, потому что такого тепла в чужих руках я не видел никогда, а своего мне отпущено не было, ни жены, ни сына, ни снимка, что носили бы бережно, — и глядеть на чужое тепло было и сладко, и больно, как глядеть голодно-му в чужое окно на чужой ужин. Я подумал тогда, глядя на серьёзное лицо этого парня, что вот из-за таких, как он, из таких дальних тихих сыновей, и держится ещё этот мир, где всё продано и все расходники, — что где-то в чёрной войне служит парень, который скопил и вытащил мать, и мать его сидит теперь под настоящим небом и учится новому ремеслу, и это, может, единственное чистое, что я видел за всю дорогу с самого дна.

Я и снимка-то такого никогда в руках не держал — чтоб чей-то, о ком болит сердце. Некого мне было носить в кармане у сердца, не о ком щемить. Полвека я прожил так, что если б сгинул завтра в той внешней тьме, ни одна живая душа не хватилась бы, не то что снимка бы не сберегла. И, глядя, как она держит своего парня двумя пальцами за краешек, я впервые за долгие годы задумался о том, чего у меня не было и уже не будет, — не с завистью, зависть дело молодое, а с тихой сухой печалью, с какой глядишь на чужую жизнь, что могла бы, да не сложилась быть твоей. И тут же одёрнул себя: мне такого нельзя и хотеть. У кого есть, о ком болит сердце, у того есть, чем его достать, за что потянуть, того и держат на крючке. Одинокий неуязвим. Я всю жизнь берёг эту свою

неуязвимость, а тут вон сижу и жалею о ней — стало быть, размягчился, стало быть, пора беречься вдвое.

А про меня она не выпрашивала, и это я ценил в ней больше всего, дороже даже её тепла. Она приняла мою скучную ложь про доверенное лицо на корабле и не лезла дальше, не выпытывала, откуда я родом, да что за корабль, да как звался, да сколько скопил, да отчего один на свете, без жены, без детей, без родни, — то ли из деликатности, то ли оттого, что и у самой было в прошлом такое, о чём не говорят, свои камни, своя бумага, своя незажившая рана, а кто носит своё молчание, тот уважает и чужое. За это её нежелание копать я был ей благодарен так, как не был благодарен, может, никому за всю жизнь, потому что всякий вопрос про меня был мне как нож у горла: ответишь правду — пропал, ответишь ложь — плети новую и помни, что сплёл, а она ножа не подносила и плести не заставляла, и рядом с ней я мог хоть немного не сторожить каждое своё слово. Отдыхал я подле неё от вечной этой настороженности, как усталый отдыхает, привалившись к стене, — ненадолго, вполглаза, а всё легче.

И, отдыхая так подле неё, я нет-нет да и вспоминал Чифа. С Чифом было так же: он знал про меня много, а не спрашивал ничего, брал, как есть, и молчал своё, и я молчал своё, и в этом обоюдном молчании было больше доверия, чем в ином откровенном разговоре. Двое, что умеют молчать друг при друге, не тяготясь молчанием, — это редкая пара, реже любящих. Чифа я потерял, ушёл от него молча, не простясь,

оставив ему одну крыльчатку вместо слова, потому что след в чужой памяти опаснее следа в реестре, а живого свидетеля надо оставлять позади. И вот теперь у меня опять был человек, при котором я мог молчать, — и я уже знал, наперёд знал, что и её, как Чифа, придётся когда-нибудь оставить позади, молча, не простясь, и что чем теплее мне с ней теперь, тем горше будет после. Знал — а всё сидел в том углу, вечер за вечером, потому что человек так уж устроен, что тянется к теплу, даже зная, что за тепло после платить.

Только раз она подошла близко, ближе, чем всегда, ближе, чем я кому позволял подойти. Мы сидели в тот вечер дольше обычного, кафе уже пустело, подавальщик составлял стулья, за окном погасли краны, и она, поглядев на меня через стол своим прямым спокойным взглядом, тем самым, что был и на снимке у сына, сказала вдруг, без подхода, как говорила всё:

— Ты чудной, Виктор. Все тут рвутся, спешат, хватают, а ты будто и не за деньгами пришёл. Будто тебе не подняться надо, а спрятаться. Сидишь тихо, глядишь на всех, а сам будто чего боишься. Кого тебе бояться, ты человек не бедный, не пропащий. А глядишь иной раз, как глядит тот, за кем гонятся.

Я похолодел внутри, как холодел на заставе перед въедливым молодым служакой, что вертел мою молодую бумагу да глядел на моё старое лицо, — тем нутряным холодом, что подымается снизу, от бедра, где лежал ключ, к самому

горлу. Потому что она прочла меня близко, куда ближе, чем я думал, что меня вообще можно прочесть, — я, что всю жизнь читал других и оставался нечитан, вдруг оказался открыт, разложен, как чужая бумага на столе. Но я не дал ей увидеть, что похолодел, — этому я был учён, лицо держать я умел лучше всего на свете. Я усмехнулся, как усмеваются над пустяком, над стариковской причудой, и сказал ровно, скучно, тем самым скучным голосом, каким гасил всякое лишнее любопытство:

— В мои годы всякий немного боится. Пожил с моё — навидаешься такого, что и без погони оглядываешься. Это не за мной гонятся, Риша. Это я от прожитого не отвык.

Она поглядела на меня ещё миг, будто взвешивая на своих прямых весах, поверить или нет, и я держал её взгляд ровно, скучно, не отводя и не вцепляясь, — отведёшь резко, и выдашь себя, и вцепишься, тоже выдашь, надо ровно, устало, как человеку нечего прятать. И она не стала докапываться, отпустила, перевела разговор на другое, на курсы, на завтрашний урок, — и я понял, что она либо поверила, либо, что вернее, не поверила, а увидела, что тут есть чего не трогать, и не тронула, из того же уважения к чужому молчанию, за которое я так её ценил. Она из тех была, кто, наткнувшись на запертую дверь в человеке, не ломится в неё, а обходит, потому что сама носит такие двери.

И от этого её ухода, от того, что она увидела во мне тень, ясно увидела, и не стала её ворошить, оставила мне мою

ть, мне сделалось к ней так тепло и так тревожно разом, как не было ещё ни разу за всю нашу зиму в том углу. Тепло оттого, что она одна на всём свете увидела во мне не то, за что я себя выдавал, не гладкое доверенное лицо, а что-то настоящее под ним, загнанное, настороженное, — увидела и приняла, как когда-то один Чиф на Профите увидел во мне не нуль, не третьего помощника за никчёмностью, а человека, что видит целое, и не выдал, и не продал, а взял в свои. Дважды за полвека меня разглядели живые глаза, и оба раза это было единственное тепло, какое я знал, и оба раза за тем теплом сразу подымался холод. А тревожно мне было оттого, что именно это, эта её зоркость, и была опаснее всего, опаснее любого реестра: человек, который видит меня настоящего, — это уже не тонкая ниточка, что оборвёшь и не заметишь, а верёвка, крепкая, живая, вросшая, и я не знал, что мне с этой верёвкой делать, — обрубить, покуда не поздно, или держаться за неё, впервые в жизни, вопреки всему, чему меня научила жизнь.

Глава 36. Планы

К концу второго месяца курсы наши подходили к завершению, и в воздухе, что бывает всегда перед концом ученья, повисло то беспокойное оживление, с каким люди, отучившись, глядят вперёд, в настоящее дело, ради которого учились. Занятия шли уже вполсилы, преподаватель толковал последнее, повторял пройденное, а слушать его никто толком не слушал; все теперь говорили об одном — куда пойдут, в какое агентство, чем займутся, как станут подниматься. Молодые хвастали наперёд будущими сделками, прикидывали заработки, что посыплются на них, едва они получают бумагу, делили шкуру неубитого медведя, у кого какой квартал, у кого какие связи, кто через кого зайдёт в какую контору. Я слушал их вполуха, сидя у своей стены, у своего окна, за которым всё так же кланялись небу краны, и помалкивал, потому что мои планы были не для чужих ушей, а свои прикидки я делал молча, в себе, как делал всегда, — примеряя, взвешивая, отбрасывая, и ни единой из них не выпускал наружу. Пусть их хвастают. Кто хвастает наперёд, того после ловят на слове, а с меня взять было нечего: я был тих, я был скучен, я был никто, и в этом была вся моя сила.

Последние дни ученья и вправду шли уже налегке. Преподаватель, чуя, что его не слушают, махнул рукой на строгость, гонял нас по билетам вполсилы, а больше рассказы-

вал байки из своего торгашеского прошлого — как кого надул, как кого упустил, — и молодые ловили эти байки жадно, как ловят карту клада. Кто-то уже и договорился наперёд, через родню, через знакомство, в какую контору идёт; кто-то менялся обещаниями свести, замолвить, пристроить. Стоял тот лёгкий предпраздничный гул, что бывает в конце всякого ученья, когда трудное позади, а трудное впереди ещё не началось и кажется нестрашным. Я один в этом гуле сидел тихо, у стены, у своего окна, и знал, что для меня трудное только начинается, потому что молодым впереди была работа, а мне впереди была игра вдолгую, с невидимыми, на чужие мёртвые деньги, и проигрыш в той игре считался не грошами, а головой.

С Ришей мы говорили о планах прямо, потому что ей я, сколько мог, не лгал, — не про прошлое, про прошлое я лгал, а про будущее лгать было незачем, и в разговорах о будущем я почти делался с ней настоящим, насколько мог ещё быть настоящим с живым человеком. Она метила в агентство поспокойнее, где торгуют жильём попроще, для таких же приезжих, что подымаются со дна на живую землю, — ей это было по душе и по силам, и она об этом говорила с той спокойной ясностью, с какой человек говорит о деле, что впору его рукам. Она чуяла этих людей, их нужды, их страхи, потому что сама была из них, потому что сама, ещё год назад, стояла бы по ту сторону стола, робея перед бумагами, боясь, что обманут, что обсчитают, что подсунут гнилой угол за хо-

рошие деньги.

— Продавать буду тем, кого понимаю, — говорила она, отламывая хлеб медленно, по-своему. — А понимаю я тех, кто со дна лезет наверх. Я с ними одной крови. Приведут ко мне такого, приезжего, пуганого, с последними деньгами в кулаке, — я ему не соврю, не всучу лишнего. Ему угол нужен, чтоб зацепиться, чтоб семью привезти, а не хоромы. Вот я ему угол и сыщу по деньгам, по-честному. На том и подымусь помаленьку.

И в этом была её сила и её правда, и я, слушая, думал, что она найдёт своё место, что у неё выйдет, что она будет продавать честно и оттого верно, потому что бралась за дело по себе, а не рвалась выше головы. Она и тут осталась той же прямой, что подошла ко мне первой: знала свой рост и не тянулась на цыпочки. Я ей позавидовал даже — тихо, без горечи, — тому, что ей можно строить свою жизнь открыто, из честной глины, а мне свою приходилось лепить из тайны да оглядки.

И всё же я не завидовал ей чёрной завистью, а как-то светло, тепло, — радовался за неё, что у неё выйдет по-честному, что она устроит себе тихую верную жизнь по своему росту. Я даже прикидывал про себя, чем бы ей после подсобить, не выдавая себя, — свести с нужным человеком, шепнуть верное слово, когда сам войду в силу. Дивился я этой своей мысли, потому что отродясь не думал, как бы кому подсобить, — думал всегда лишь, как бы уцелеть самому. А тут

вон завелась во мне забота о чужом человеке, тихая, непрощенная, и я её не гнал, хоть и знал, что забота о ком-то — это тоже ниточка, тоже слабина в броне. Знал, а не гнал.

А я метил иначе, и ей про то сказал, сколько мог сказать. Я метил в дорогое. Не в то жильё, что для поднимающейся голи, а в то, что подороже, — не в роскошь ещё, до роскоши мне было не дотянуться с ходу, чужаку без имени и связей, а в добротное дорогое, в бизнес-класс, как это тут звали, в дома для тех, кто уже поднялся и хочет жить приличнее прочих, отгородиться деньгами от толпы, из которой сам недавно вылез. Она подивилась, когда я это сказал, отставила чашку, поглядела на меня прямо.

— Отчего в дорогое? — спросила она. — Дорогое продавать труднее. Богатый покупатель привередлив, его не уговоришь, как нашего брата. И конкуренция там злее, там сидят зубастые, при связях. Тебе бы, тихому, начать с простого, как я.

— Оттого и в дорогое, — сказал я, и это была одна из немногих правд, что я ей открыл, и оттого выговорил я её легко, с той лёгкостью, с какой говорится нечастая правда. — Простое всякий продаст. А дорогое продать — тут надо покупателя чуют, читать, чего он на самом деле хочет, потому что дорогое покупают не по нужде, а по прихоти, а прихоть — она вся в человеке спрятана. Вот это я, думаю, умею. А чего умею, тем и надо браться, иначе зачем менял ремесло.

Так я ей сказал, и это была правда, но не вся, а половина,

тот верхний, показной этаж правды, что я мог ей открыть без опаски. Про нижний, про подклеть, где лежал настоящий мой расчёт, я умолчал. Она поглядела на меня своим прямым взглядом, будто увидела во мне что-то новое, чего не примечала прежде, и не стала спорить.

— Может, ты и прав, — сказала она. — Ты людей видишь, это я давно заметила. Ты сидишь, молчишь, а глядишь так, будто насквозь. Мне бы так. Ну гляди, тебе видней. Только в дорогом квартале и волки дороже, ты там поберегись.

Поберегись — сказала она, и не знала, до чего в точку, потому что беречься мне было велено самой моей жизнью, всей моей дорогой с самого дна, и всякий её совет беречься падал на готовое, как падает семя на вспаханное. Она думала, что предостерегает от зубастых торгашей, от богатых, что обдерут неопытного, а того не знала, что берётся я не торгашей, а тьмы за окном, откуда по следу денег мёртвых, может, уже шёл ко мне тот, кто не оставляет свидетелей. Я кивнул, будто принял к сведению её житейское, а про себя думал своё, глубокое.

Я и вправду метил в дорогое, но не за тем даже, что там годился мой дар, — дар был поводом, вывеской, — а по расчёту потоньше, о котором не сказал ни ей, ни кому и не сказал бы под пыткой. В дорогом кругу вращались те, кто владел домами, землёй, стройкой, кто двигал этот растущий мир и снимал с него сливки, — те невидимые хозяева, что не ходят по улицам в бетонной пыли, а сидят выше, в тени, за чужи-

ми именами. К ним, к этим невидимым, мне рано или поздно надо было подобраться, потому что через них, и только через них, лежал путь к настоящим деньгам, — не к моему грошовому нынешнему заработку, а к тому, чтоб было куда пристроить мои будущие большие деньги, когда придёт час разменять ключ, что лежал у бедра, и вынуть из чужих учёток долю мёртвых. Деньги, снятые с борта, нельзя было принести на свет просто так, их надо было отмыть, растворить, вложить в дело, что не спросит, откуда, — а такие дела делались там, наверху, в дорогом кругу, у хозяев стройки, где деньги текут реками и никто не считает капель. Продавать дорогое жильё было для меня не целью, а дверью, — тихой боковой дверью в тот круг, где решались настоящие судьбы этого мира, и я входил в ремесло продавца, а метил дальше продавца, туда, к хозяевам, — только шёл туда, как ходил всю жизнь, тихо, снизу, боковой тропой, вдоль стеночки, чтоб дойти прежде, чем меня заметят, и стать нужным прежде, чем стать видным.

Как это устроить — быть в дорогом кругу и остаться незаметным, преуспеть и не засветиться, подняться и не оставить следа, — я ещё не знал в точности, и это была та самая задача, что глодала меня по ночам в моём углу с окном, когда я лежал, положив руку на бедро, на ключ, и глядел в чёрное небо, откуда, может, уже шли. Замысел ещё только брезжил во мне, без ясных очертаний, тот самый ход, что после и вывел меня выше всех, а покуда лежал во мне зерном, тёмным,

нераскрытым, и я чуял его в себе, как чуют зерно в земле — что взойдёт, а чем взойдёт, не видать. Я знал одно накрепко: рваться в славу, как рвутся прочие, что делили тут шкуру неубитого медведя, мне нельзя, слава мне яд, известность — петля. Первым сделаться можно, а на виду нельзя. Мне надо было сделаться нужным, не сделавшись видным, вкорениться, не выступив, — а как совместить несовместное, я чуял, что придумую, потому что всю жизнь тем и жил, что придумывал, как пройти там, где прохода нет, как протиснуться в щель, где не пройти по-людски.

И всё же, замышляя этот тихий подъём, я не мог отделаться от старого своего знания, вбитого в меня всей жизнью: успех — это след, а след — это опасность. Всякий, кто подымается, делается виден, а меня видеть было нельзя, потому что где-то в той внешней тьме сидели те, кому я задолжал головой, — недобравшие своё с мёртвого борта, что рано или поздно спохватятся. Подымись я слишком высоко, слишком ярко — и мой подъём сам, как маяк, укажет им дорогу к моему горлу. Оттого и весь мой замысел, ещё не додуманный, вертелся вокруг одного: как взять высоту, не зажигая маяка. Богатеть в тени. Стать нужным тем, кто наверху, и остаться безымянным для всех прочих. Первым — но не на виду. Я не знал ещё, как, но знал твёрдо, что иначе мне нельзя, что для меня заметность и смерть — одно слово, писанное дважды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.